

БУСЛАЙ И ЗОТИК

– Я не пью.

– Чего так?

– В завязке.

– ..?

– Отвали, я же сказал, – Буслай резко, на пятках, развернулся и крупно пошагал в сторону березняка.

Четверо уже присевших на краях расстелённого посреди обдуваемого поля брезента мужиков молча переглянулись и одновременно начали поправлять выложенную по центру снесь. А стоявший с эффектно вознесённой бутылкой китайского спирта Серёга-электрик недоумённо повторял в никуда:

– Чего он так? Чего?

Сентябрьский ветерок налётисто приглаживал хорошо отросшую отаву, снося неугомонных слепней и мошку. Нежаркое солнышко, окончательно просушив землю от утреннего дождика, щекотливо нежило расположившихся отобедать на природе бригадников, в своей несуетной, сдержанно-материнской ласке вызывая из забытья какое-то неуловимо детское, вязко-разморённое состояние беззаботности. И только Серёга продолжал дёргаться:

– Эй, ты! Ты, псих! Псих! – но вот и он, тряхнув впослед уже входившему в сплошь золотой берёзовый колок Буслаю мутно запузырившейся бутылкой, плюхнулся к остальным. – Психом был и психом помрёт.

– Оставь, – бригадир дорожных ремонтников, бородавочно-грузный, пугающий всех новичков тяжким пыхтением Диманыч сосредоточенно отлавливал в своём пакетике и выдавал каждому по ровно откалиброванному малосольному огурчику. – У него резонный повод. Уважительный.

Вообще Буслай – по паспорту Олег Олегович Буслаев – всегда был сам по себе, всё молчком и на отшибе. В болельщицкие споры не вступал, в праздничных куражах не участвовал, на складчину шёл неохотно, и хотя в работе не сачковал и тянул лямку в полную меру своих внушительных сил, однако нежной любовью у товарищей не пользовался.

Что о нём знали? Детдомовец, болтавшийся по молодости в портах и на каботаже Приморья, тянувший через томские болота ЛЭП, гонявший скот из Монголии и строивший мост в Екатеринбурге, этот вечный бесприютник к тридцати пяти годам, даже для самого себя неожиданно, взял да и родил от такой же неприкаянной подруги сынишку – Егорушку. Однако общаговский быт беспросветных девяностых как-то уж слишком быстро разбил их утлую семейную лодку. И месяцев через шесть, забрав сына, Танька сбежала к родителям в райцентр Ивановской области, оставив сожителю письменные претензии и приличных размеров долги.

Тогда-то Буслай и испытал первый приступ религиозности.

Субботним апрельским вечером, пьяный смесью водки и тоски до почти полной утраты человеческой речи, он ввалился во двор прикладбищенской церкви Успения Пресвятой Богородицы и, распугав благостно воркующих после службы старушек, тяжело грохнулся на колени прямо перед высоким крыльцом. Страшно мыча и рыча, Буслай кулачищами размазывал по щекам слёзы и слюни и, тычась лбом в асфальт, неумелой щепотью крестил себя то слева направо, то справа налево. Молоденький сторож и дворник Толик робко вжался в косяк, настраиваясь как-нибудь, но не впустить невменяемого громилу в не запертый ещё храм.

Однако Буслай даже не пытался войти. Минут за пять-десять откричавшись, всё ещё крупно сотрясаемый всхлипами, он, обмякая, прочно устроился на асфальте и, раскачиваясь, теперь лишь жалостливо поскуливал. Старушки от греха подальше давно разбежались, а на укрепление Толикова духа из ризной подоспел ещё более тщедушный, семидесятипятилетний иеродиакон отец Зотик. Вдвоём они затворили тяжеленные двери, замкнули их на висячий замок. И монах, отправив послушника ужинать, остался на ступеньках покараулить нежданного гостя.

С полчаса они молчали, погружённый каждый в своё. Зотик, перебирая узелочки самодельных чётки, отстранённо смотрел, как влажно-розовое небо заполняется синей облачной рябью, как подлетевшие недавно с юга серошеи, голубоглазые галки, нежно перекликаясь, собираются на ночёвку в дальнем краю кладбища. Как настоятельский кот брезгливо моет белые носочки передних лап под дверями трапезной. Буслай окончательно притих, как вдруг, словно очнувшись, вскинулся, удивлённо заозиравшись по сторонам. Попытался даже подняться, но ноги не послушались, и он, смешно растопырясь, завалился на спину. Коротко простонав, замер.

– Ты, сынок, не располагайся надолго, – старческий тенорок звучал с необходимым юморком. – Землица ещё холодная, будешь потом с почками али с простатитом маяться. Вставай полегоньку, не пляжный сезон.

– Душа умерла, – только что мычавший и скуливший Буслай произнёс эти слова совершенно отчётливо, словно даже не своим, чуждо хриловатым голосом.

– Вряд ли. Но всё одно, поднимайся. Давай вот сюда, на мой коврик. И выкладывай скорби да печали.

Со второй попытки одолев крутые крыльцовые ступени, Буслай тяжело подсел, едва не придавив крохотного худенького старичка, и, опять раскачиваясь, захрипел по-чужому:

– Жить незачем.

– Что так? Неужто ни денег, ни почёта не хочется? Ну, хоть поблудить-то тянет?

– Ничего не хочу. Устал.

– Надо же, какой заранее утомлённый.

Чернильно-синие облачка окончательно залепили небосклон, резко засмеркалось. Глыбы громоздящихся вдали девятиэтажек просветились рябью оконного разноцветья. Отужинавший Толик уже дважды выглядывал во двор, но, верно оценивая обстановку, тут же скрывался.

– И когда душа обмерла?

– Не знаю. Может, сейчас. Может – двадцать лет таила, да теперь прорвало.

– Ты крещённый? Каким именем?

Олег. На Тысячелетие в Новосибирске крестился.

Сам? Молодец.

– А-а-а! Тогда все в церковь повалили – как сдурели разом. Очередь, духотища. Дети вопят, бабы в обмороки падают.

– Не «сдурели», а очнулись. Не сами же шли, а Господь призывал. Вспомни, какие у всех лица осветлённые были благодатью.

– Не помню ничего, мы тогда крепко это дело обмыли.

Чётки в руке Зотика дрогнули, но он сдержался:

– А после того в храм заходил?

– Раза два. На Пасху как-то, и за водой.

Нехороший ветерок жёстко заколол мельчайшими каплями-брызгами, застучал-зацарапал голыми ветвями ивы по кладбищенской огороде. Зотик зябко подтянул плечи и неожиданно легко приподнялся:

– Ну, Олежек, протрезвел? На ногах устоишь?

Буслай встал, с неким недоверием к себе бочком спустился с крыльца и вдруг притопнул:

– Пожалуй, что и спляшу. Цыганочку с выходом.

– Не дерзи! – ответно притопнул Зотик. – Пьянь разэтакая. Ну что ж ты над собой вытворяешь, дурья твоя башка? Что ж ты так сам себя мытаришь-мучаешь? Это ж надо – такую боль терпеть и ещё фуфыриться! Проспись-ка и приходи назавтра. Приходи, сынок! Надо тебе, вижу, очень надо.

От неожиданности выговора Буслай вытянулся во весь рост и жалобно прошептал:

– А ты научишь меня, как опять жить захотеть?

– Ох, горе ты, горькое! Тут не учительствовать надобно, а молиться за тебя. Крепко молиться. Ходатайствовать о тебе перед Господом и Пречистой Матерью Его.

О чём уж они в воскресенье после литургии три часа пробеседовали, кружа по кладбищенским дорожкам, – но вскоре заходил Буслай за Зотиком, ровно приручённый медведь. Или точнее – пёс, потерявший и вновь обретший хозяина. Что такого сотворил

старичок-монах со здоровенным вольнолюбивым мужчиной, но в любую свободную минуту бежал тот теперь в церковь: ставить ли леса на перекрытии колоколенной крыши, помогать ли маломощному Толику с вывозом весеннего мусора с могилки. Выбивать ли для старушек ковры-дорожки. Просто подхватничать. И, спрашивая, слушать, слушать такие, оказывается, простые и ясные истины.

А потом, затаившись несовпадением своих новых интересов и общежицкого окружения, и вовсе перебрался к Зотику на постой, в его крохотный деревянный домик в две комнатки, с заросшим сиренью палисадником.

Лето отцвело-отплодило. Ветреная осень наскоро раскрасила парки и скверы, и уступила город первоснегу. Отпустивший рыжевато-пшеничную, с завидно пышными усами бородку, Буслай одолел Евангелие, вычитал кое-что из пророков, научился различать священноначалие. Постепенно отлаживалась и молитва. Обнаружив приятный тенорок, он тихонько подпевал в непраздничные дни в хоре. Настоятель даже благословил в очередь с отцом Зотиком и Толей читать Шестопсалмие. В общем, столь явное чудо душевного буслаевского воскресения сердечно умиляло всех, кто знал-слышал про прежнее его беспутное житие. Вся их приходская старушачья гвардия любовалась духовным чадом отца Зотика, гордилась, ластила-льстила, смущая мелочными подарками и услужливой заботливостью.

А зима вошла в красу! Присыпая блёсткой порошею городские убогости, метелями свежила улицы, синичьим звоном полнила дворы, сияла юной розовощёкостью по каткам и горкам, дразня предвкушением грядущего праздника всеобщих счастливых надежд.

И вот, под самое заговенье на Рождественский пост, налегло-навалилось на Буслая неодолимое желание увидеть сбежавшую от его дёрганности и пьяных закидонов подружку-сожительницу, всё же решившуюся тогда родить ему, разгильдяю, сына. Просто неутерпимо захотелось поделиться с Татьяной радостью обновлённой своей жизни, а может, и уговорить ещё разок попытать возможность семейного счастья. Понятно, что никаких таких уж особенных чувств меж ними и изначально не лежало, но – сын! Егор! Имеет же право мальчик воспитываться отцом. Тем более, таким, нынешним, обретшим трезвое христианское мировидение.

Зотик как-то странно не восхитился буслаевским настроением. Не отговаривая, просто замкнулся, съёжился-ужался, насупленно не участвуя в суетливости покупок билетов, подарков и новой представительской одежды. А Олег пел и порхал, фонтанируя планами и предположениями, красно вычёркивая дни до отпуска в настенном календаре.

– Путь и истина сый, Христе, спутника Ангела Твоего рабу Твоему Олегу ныне, якоже Товии иногда, послы сохраняюща... – Буслай даже не оглянулся на крупно крестящего его в спину Зотика. Держа над головой чемоданчик, он по раскатанному детворой спуску сбежал-скатился к автобусной остановке, уже оттуда отмахнувшись на прощанье шапкой.

Встречная метель забивала глаза и рот крупными лепёшками снега, выстужала грудь и щиколотки, норовила вывернуть чемодан. Из-за перемётов автобус не дотянул до райцентра три километра, остановился ждать тягача. Но Буслай-то ждать не мог! Наваливаясь на противящуюся его страсти злую белесую взвесь, он почти вслепую шаг за

шагом пробивался к тем, кто должен был удивиться, озадачиться, а потом наверняка и обрадоваться новому – нет! – обновлённому человеку. Не чужому им человеку.

На стук дверь отворять не спешили. После умучивающе долгой возни наконец в сенях загорелся свет, и в узко приоткрытом проёме встал невысокий, крепкий, совсем ещё нестарый Пётр Андреевич – Татьянин отец. Выслушав буслаевские самопредставления, отстранился, пропуская в дом:

– Входи.

Жарко натопленная кухня сыто благоухала подходящим тестом, свеженажаренной картошкой с грибами и чесночной заготовкой к холодцу. Где-то за плотной занавеской притаилась слишком уж скоро удалившаяся «с мигренью» Анна Николаевна, а далее... сколько Буслай ни прислушивался, но из комнаты, где, как сказали, спал сынишка, никаких звуков не доносилось.

Над узким, нечасто заставленным по клеёнчатой скатерти разнородными мисками и тарелками столом они сидели, почти уперевшись лбами. Петр Андреевич только слушал, лишь кивая или вскидывая к губам палец, да иногда выдавливая невнятные междометия.

А когда Буслай иссяк, он ещё и затянул невыносимую паузу.

– Всё это весьма интересно. И поучительно, и душе приятно, – в грудном шепотке вынеслось нечто неискреннее, актёрствующее. Буслай ощутил под желудком тоскливый холодок. – Оно даже несколько извиняет твоё запоздалое, так сказать, явление народу. Однако теперь выслушай и моё мнение. Не перебивай.

Петр Андреевич опять приподнял палец:

– Ты вот осчастливить нас решил. Так сказать, покался, получил грехам отпущение, и айда на отцовство и супружество. В самый раз под ёлочку подгадал. Однако, и я ведь к сему свиданьицу тоже весь этот год шёл. Всякого понадумал-понафантазировал. То Богу молился, то к чертям посылал. Даже об убийстве мыслишки прокрадывались. Зато могу теперь заявить осознанно и несомнительно: не нужен ты нам. Убирайся. Утопывай. Чтобы духу твоего тут не было. Таково моё окончательное решение.

И вдруг свистящий вскрик:

– Будьте вы с Танькой прокляты!!

Буслай смотрел на дрожащие в кривоте губы, на зажмуренные удержанием слёз глаза. И холод из живота возгонялся в сердце, ожимал горло, горбатил межплечье.

Да, надо было понять и принять решение человека, русского крестьянина, отца, чья дочь-дочурка, радость и надежда, поехав за судьбой в дальние города, так и не закончила строительного колледжа, но нашла-нагуляла ребёнка, и затем, скинув его дедам, уже совсем отвязано зажила с каким-то носатым-усатым Аликом. Полупьяная, раскрашенно-чумакая, торговала теперь в кавказской конуре всякой дрянью.

– Где?!

– Не грехи. Ты же ноне святой, только щёки подставлять должен.

Петр Андреевич официально усыновил Егорушку, дав свои отчество и фамилию. Пусть парнишка растёт, думая, что он просто запоздалый ребёнок. Чтобы никто, нигде и никогда не посмел ткнуть его шлюхой-матерью и бомжарой-отцом.

– Досидишь до шести утра, соберёшь свои прянички, и – скатертью дорога. На все, так сказать, четыре стороны.

– Взглянуть хоть на малого позволь?
– Нет. Ради него и не допущу.
Надо было понять. Принять.

Два диких затяжных запоя довели до психушки. Прочищенный галоперидолом и утихомиранный «серкой» до овощного состояния, опять же сырым апрельским вечером стоял Буслай на коленочках перед Зотиком. «Ох, горе ты, горькое! Дурья твоя башка!» – и снова монтировал он леса для реставраторов, помогал Толику, выбивал ковры-дорожки. Подхватничал. Но уже без всякого задора-радости. И без старушечьего любования.

Продержаться удавалось не более месяца. Накатывала депрессия, когда даже свет луны резал болью, а лёгкий шорох разворачивался дикими страхами – и Буслай запивал. Пил он всё, со всеми, где только что мог добыть. Пропадая неделями, вдруг приползал – грязный, избитый, раздетый и разутый. Размазывая сопли и слюни, скулил о себе и грязно, до богохульства, ругал остальной мир. В эти периоды Зотик прятал Буслая, даже что-то лгал настоятелю, чтобы мужика не погнали с прихода – какая-никакая, а всё ж работа, не отлучили от таинств – ведь тогда гибель точно неотвратимая. Терпеливо мыл загаженные полы, подстирывал, штопал, выносил опустошённые бутылки и отпаивал настоями трав. И ничем не попрекал. Так, ворчал-бурчал необходимо.

Что понудило этого малосильного, хворобного старичка взвалить на себя и понести такой тяготный и неприглядный крест? Почему именно Буслая выбрал он из виденных-перевиденных алкашей и бродяг, то и дело молящих и требующих на церковных папертях помощи? Искренне и не очень рыдающих о себе и клянущихся преобразиться, лишь бы их пожалели. Сейчас, немедленно. А после полученной краткой передышки неизбежно вновь срывающихся в прижизненный ад, в новом падении злорадно высмеивая и хуля своих мягкодушных лабухов-жалельщиков.

Чем же Зотику показался именно этот? То осталось тайной сердца монаха.

Буслай, уловив свою безнаказанность, по протрезвлению винился теперь нетрудно, даже вызывающе: да, мол, падаю, грязнюсь, но потому как больной, одержимый. Жизнь подломила, судьбина подсекла, и демоны одолевают. А православные должны прощать, обязаны – так Бог заповедал! Отлежавшись, правда, впрягался в работу по полной, подхлестывая себя чефиром, крутился и тянул, не ведая ни отдыха, ни продыха. Как раз в храме капитально меняли трубы отопления и канализацию, и его взрывная физическая мощь была весьма к месту.

И ещё. При всех своих пьяных безобразиях, никогда Буслай не проявлял ни к кому насилия. Это его били милиционеры, грабили собутельники, оскорбляли проститутки. Он же свой кураж демонстрировал только в работе.

Однако по зиме начал вдруг резко слабеть, спал с лица, пожелтел глазами. Ночами крутился, покряхтывал от бродячих болей то в суставах, то в подреберье. Зотик предлагал обратиться к врачам, тем более были и свои, воцерковлённые, но – куда там! Даже когда и без выпивок тошнило уже постоянно, Буслай только кисло усмехался: «А давай, отец, на руках! Передавишь, веди хоть в анатомический театр, студентам на опыты». Открылись частые носовые кровотечения, на животе всплыла венозная «голова медузы». Но страшно

догадывающемуся Зотику оставалось только ждать. Ждать, когда бычащемуся Буслаю станет невмоготу.

Невмоготу стало прямо на улице. Они возвращались из храма предсретенскими сумерками в том чудном душевном расслаблении, каковое наступает после вечери с миропомазанием. Синяя февральская тишина не смущалась мягким скрипом их шагов по свежо подсыпаемому снежку, а других звуков в переулках частного сектора в это время и не бывало. Буслай, с утра какой-то угнетённый, за службу отмяк, расправился складками вокруг глаз. И теперь, поддерживая под локоток мелко топтавшего Зотика, он то и дело вскидывался к невидимому небу, игриво сфыркивая с усов тающие звёздочки. Как вдруг, закосившись, пошёл-пошёл на подгибающихся ногах в сторону. И упал, ткнувшись лицом в призаборный сугроб.

– Олежек! Олежек! – Зотик за воротник вытянул его из закровавленного отпечатка. Обняв, пытался посадить. – Что же это, Господи? Господи Иисусе!

Диагноз, он же приговор: алкогольный цирроз печени на последней стадии.

Перерождающаяся ткань, уплотняясь, рубцами пережимала внутренние сосуды печени и загоняла кровяное давление уменьшающегося органа до неизбежности разрыва вен. Как правило, после первого обильного кровотечения восемьдесят процентов больных не проживало и года.

Выведенный из комы, Буслай ещё три месяца лежал, бессмысленно прокачиваемый капельницами и уколами, травимый таблетками и порошками, истязаемый диетой в желтушном отделении, пока не выписали его домой ...помирать. И не было за эти месяцы дня, в кой не забегал бы, не просиживал у его кровати дозволенные к посещению часы, сам до прозрачности усохший, старичок-монашек. В больнице к Зотику привыкли, кроме Буслая он всегда как-то успевал переговорить-перевидаться с десятком лежащих и лечащих, нуждающихся в просфорках и святой воде, в молитвословах и иконках, в подаче в алтарь заказных записок на молебны и сорокоусты. К Зотику привыкли, его ждали, дорожили каждой минуткой общения. А через его заботы проникались состраданием и к его «сынку Олежеку – пьяни разэтакой».

Начальное лето вливалось в открытое окно, переизбытком растущей и цветущей жизни выжимая из комнатки запахи камфары и фуруцилина, загоняя боль в подкроватную темноту дожидаться своего ночного всевластия. Укачиваемый рябой тенью осыпавшейся фиолетом сирени, Буслай прислушивался к доносящимся с улицы ребячьим голосам. Там, прямо у палисадника, шла азартная возня, сопровождаемая звонкими препираниями. Четверо или пятеро дрессировщиков наперебой обучали соседского Шпунтика всем необходимым служебной собаке командам. «Сидеть!», «Лежать!», «Ко мне!», «Апорт!». Но вот, судя по рёву самого младшего инструктора, съевшей все вкусные стимулы дворняжке удалось сбежать.

В доме Зотика отродясь не водилось ни телевизора, ни радио, и десятилетиями настоящая тишина легко меняла окраску. От пугающей предчувствиями и удушливо злой до нудно тупящей или же распирающе-праздничной – тишина была эхом всего, что звучало внутри Буслая. Сейчас в ней вился и метался то ликующий, то отчаивающийся

мальчиноческий голосочек. Голосочек, каким мог бы спорить, командовать и упрашивать хитроумную собачку его сын. Его Егорка.

Толстый молитвослов с акафистами... Лествица... Златоуст... Июньские Жития...

Развал раскрытых книг возле изголовья опротестовывал, осуждал пенящуюся в сердце гневность, но не мог остудить уже закипевшей жажды бунта. Бунта против, когда-то, по недоумству, столько раз задираемой, дразнимой, а теперь вот совершенно реально представшей смерти. Его смерти.

Смерть не пугала, а именно злила. Бесила – тем, что сама назначала срок. Безо всякого учёта буслаевой воли.

Зотик нашёл его на вокзале, в крапивных порослях за дальним почтово-багажным ангаром. Влипнув спиной в жёлтокрашенную кирпичную стену, Буслай, судорожно давясь, загонял в себя остатки водки из плоской гранёной бутылки. Удерживая ладонью рвоту, скопил слёзно блестящие глаза на набегающего старичка:

– Это вторая. Так что доза для моего нынешнего веса уже почти летальная. Ха-ха, щас как полечу!

– Господи! Иисусе Христе! Ну что ж ты, дурья башка, делаешь? – Зотик вырвал бутылку, бросил под ноги, зачем-то начал топтать. – Расточись! Расточись!

– Сказано тебе: я уже летальный, – хохотнув, Буслай взмахнул руками и закаркал. Но тут же, сгибаясь от боли, нутряно закашлялся.

– Что ж ты чудишь, горе-горькое, что ты себя мытаришь? Пойдём-ка, сынок, домой.

Буслая качнуло-откинуло:

– Нет у меня никакого дома. Никогда не было. И меня тоже не было.

– Господи, помилуй. Да какие же ты, Олежек, глупости мелешь?

– Следа за мной нет! Ни дома, ни дерева. Ни сына. Сдохну, и – пустота.

Он жестом фокусника вынул из-за спины бутылку:

– Всё, отец, последняя. И привет, курносенькая! Встречай!

Винтовая пробка никак не поддавалась распухшим пальцам, и Буслай зачертыхался от получающейся неэффективности самоубийства. Зотик с каким-то смешным подскоком набросился на него, ухватился за рукава и изо всех сил дёрнул. Бутылка звякнула отбитым доньшком, и меж ног борющихся мгновенно расплылась вонючая лужа.

Замерев, они, яростно дыша, несколько секунд всматривались друг в друга. Затем Буслаево левое плечо медленно приспустилось.

Под хлестким ударом Зотик слёг как скошенный.

Зло дошагав почти до угла ангара, Буслай вдруг притормозил, повернулся к стене. Упершись ладонями, быстро согнулся. Вырвало с кровью.

Отеревшись и отдышавшись, повернулся. Нетвёрдо, но с ускорением двинулся назад. И, руки за спину, навис над присевшим уже Зотиком. Отчётливо, совершенно тем же, как два года назад – не своим – хрипловатым голосом спросил:

– Что, отец, довёл? Вот теперь всему и конец.

Зотик, придерживая вспухшую правую щёку, чуть слышно залепетал:

– Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его... И да бежат от лица Его ненавидящие Его... Яко тает воск от лица огня...

Буслая от поясицы к затылку протянуло судорогой. Горбясь и кривясь нутряной болью, зажимая уши большими пальцами, он начал медленно опускаться. А Зотик продолжал молиться всё громче и громче:

– Радуйся, Пречестной и Животворящий Кресте Господень! Прогоняй бесы силою распятого на тебе...

Буслая окончательно придавило к земле, и, под явственным насилием сгибаясь-разгибаясь, он тыкался и тыкался лбом в водочную лужу. Но голос исходил прежний, чёткий:

– Ты почему смерти не позволяешь? Тогда спасал, теперь?

– И ныне! И присно! И во веки веков! Аминь! – закончил Зотик молитву почти в крик, широко крестя себя и Буслая.

С колен они опять всматривались друг в друга. И вдруг Зотик осторожно положил свои лёгкие ладошки на Буслаевы плечи и почти улыбнулся, вздёрнув лопнувшую губу:

– Олежек, ведь то не я – то Господь наш, Иисус Христос тебя живит. Не перебить человеку милости Его.

И, притянув к груди сотрясаемую прорвавшимися рыданиями голову, вздохнул:

– Ох, горе ты, горькое! Только не пей больше, не унижай в себе Бога. И будет тебе жизнь. Долгая!

Что потом?

Буслай уехал в Иваново, устроился укатчиком в «Дорстрой» латать магистрали федерального и областного значения, что б иной раз да появляться в райцентре, где вдруг, пусть издалека, – случайно! – да видеть маленького мальчика Егора. Понятно, что не пил Буслай, не курил. И, дивя, а более раздражая недоумённых сотоварищей, соблюдал посты и не пропускал воскресных богослужений.

Может, от правильного образа жизни, может, от чего иного, но третий год на здоровье он почти и не жаловался. Даже животик нагулял.

А Зотик?

Иеродиакон Зотик отошёл ко Господу в ту же осень.

Медицинская экспертиза заключила, что приведшая старика к смерти пневмония осложнилась обширным рубцеванием печени. Причина же стремительного развившегося цирроза, скорее всего, обусловлена была застойной сердечной недостаточностью. А, возможно, наследственным нарушением обмена веществ. Ведь почти у тридцати пяти процентов пациентов этиологию заболевания современной науке выяснять пока не удаётся.

Конечно, это для тех, кто не всё ведает.